

на совхозных полях, спали в шалашах из сена, было трудно, но никто не жаловался, — вспоминает А. И. Шилова, — раз в день кормили баландой — это жидкая похлебка из черной муки, но мы были рады и этому».

Таким образом, война стала для женщин тяжелым испытанием, они перенесли горечь утраты родных и близких, претерпели лишения и трудности военного времени. А женщины, работавшие в тылу, несли на своих хрупких плечах основную тяжесть труда на производстве и в сельском хозяйстве. Феномен участия женщин в войне заключается и в особенностях женской психологии, которая определяла восприятие фронтовой действительности. «Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на войне, который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война захватывала как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей психологии: бомбежка, смерть, страдание — для нее еще не вся война. Женщина сильнее ощущала перегрузки войны — физические и моральные, она труднее переносила мужской быт войны» [1, с. 101].

Благодаря своей специфике устный исторический рассказ может осветить под весьма интересным и неожиданным углом историческую картину. В данный период необходимо собрать как можно больше разных свидетельств военного времени, представляющих разные взгляды на проблему женщины в войне. Собранные истории позволят понять роль и место не только мужчин, но и женщин в годы войны, ощутить гендерные особенности в условиях того времени.

Литература и источники

1. Алексиевич С. У войны — не женское лицо... Минск, 1985.
2. Великая Отечественная война 1941–1945. М., 1985.
3. Мещеркина Е. Ю. Устная история и биография: женский взгляд. СПб., 2004.
4. Сенявская Е. Женщины на войне — феномен XX века // История : Прил. к газ. «Первое сентября», 1998.
5. Станиславская Е. С. Женщины на войне // Мир истории. 2000. № 5.
6. Якунцов И. А. Урал в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Пермь, 2003.

Т. К. Щеглова

Социальные отношения в советской деревне (1930–1950-е гг.): вызов устной истории

Повышенный интерес к социальной истории на современном этапе выразился в издательском буме, проведении многочисленных научных конференций и семинаров. Исследователи пытаются компенсировать упущения советской историографии. Нельзя отрицать, что в советское время социальная история получила значительное развитие, но ее возможности ограничивала монополия методологической теории о классах и классовой борьбе.

В связи с этим многие темы и проблемы социальной истории, особенно советского периода, оставались за рамками историописания или попадали в «прокрустово ложе» официальной идеологии, в результате чего социальная история советского общества была фальсифицирована. Как заметил Д. П. Урсу, «...истину монополизировала каста правителей. Официальная историография, подчиненная „министерству правды“, превратилась в политико-пропагандистскую мифологию...» [1, с. 1]. Обращение современных исследователей к социальной истории, по словам А. К. Соколова, «взрывает буквально традиционное источниковедение, создавая предпосылки беспредельного расширения как проблематики, так и фактической базы исторических трудов», а ее установки «на изучение истории „снизу“, внимание к микроистории по-иному расставляют акценты в работе над источниками» [2].

Большое значение для современных социальных историков приобретает изучение советского общества с привлечением устных источников, собранных путем интервьюирования рядовых людей. В них содержится материал о мыслях, ценностях, чувствах и чаяниях участников прошлой жизни, о взаимоотношениях в советском обществе, о взаимоотношениях этого общества с властью и т. п. Документированные исторические интервью очевидцев недавнего прошлого расширяют источниковую базу документов личного происхождения, таких как жалобы, обращения, письма, персональные дела.

Причины слабого развития устной социальной истории в России видятся в отсутствии единой методологии создания и интерпретации устных источников, а также в психологических установках исследователей — недоверии к устным источникам в академической науке. В традиционной исследовательской исторической практике историк выступает как «потребитель» — он использует готовые коллекции документов государственных архивов и музеев, опубликованные документальные материалы. В устноисторической практике исследователь должен приложить усилия, чтобы, по сути дела, создать новые (устные) источники. В этом плане его деятельность похожа на методы исследования этнографов, археологов, фольклористов, лингвистов, сначала выявляющих источники, фиксирующие их и только затем интерпретирующие. Но, в отличие от этой категории исследователей, устный историк занимается не столько сбором, сколько созданием новых исторических источников. Утвердившийся в исследовательской практике термин «сбор устных исторических источников» не адекватен самому процессу и в определенной степени является данью опыту фольклористов и этнографов, которые действительно занимаются сбором памятников устного народного творчества, существующих в готовой форме (сказки, предания, легенды, были, былички, пословицы, бывальщина и т. п.). Их задачей является дословная фиксация и транскрипция готовых текстов. Деятельность

устного историка состоит в изъятии событийной или эмпирической информации через опрос с помощью созданных им вопросников. Создание устных источников требует от исследователя не только значительных временных затрат (на разработку программ, вопросников, поиск интервьюеров, проведение интервью, его транскрибирование и т. д.), но и финансовых расходов (приобретение техники, организация выезда и т. п.). Однако эти затраты окупаются получением качественной информации в ситуации «крайне неравномерного отражения вопросов, интересующих социального историка, в архивных фондах...» [3].

Привлечение опыта устноисторических исследований к изучению советской истории России продиктовано прежде всего необходимостью создать адекватную источниковую базу по социальной истории, которая в советской историографии сводилась к триаде «рабочий класс, колхозное крестьянство и советская интеллигенция» и формированию советского человека. Советская история представляет собой достаточно цельное и оформленное явление в мировой истории и имеет свои хронологические границы. Благодаря недавности исторических событий историк может выступить инициатором и создателем документов на основе воспоминаний очевидцев событий, по которым государственные фондохранилища укомплектованы недостаточно. В целом создание программ изучения советского общества должно исходить из того, что советский этап истории завершен, но свеж в памяти современников, являвшихся участниками советской жизни. При работе в этом направлении исследователю нужно учитывать, что современное общество не свободно как от идеализации прошлого и ностальгии по временам супердержавы, так и от других крайностей — очернения, преувеличения или преуменьшения прошлых достижений экономической, общественной, политической, культурной жизни советского общества.

Исследование социальной советской деревни устноисторическими методами обусловлено также тем, что сельская история с малым числом участников в силу ее повседневной будничности занимает скромное место в современной историографии. Крестьянский мир России, по мнению О. М. Вербицкой, был вне поля зрения государства и историков, которые рассматривали деревню как некую «абстрактную систему единства производственных отношений и производительных сил» [4]. И, соответственно, в государственных архивах отложились преимущественно официальные нормативно-распорядительные, делопроизводственные и статистические материалы. Жизнь людей в них не отражается. Сдерживает развитие сельской истории также ограниченность традиционной методической и методологической базы. На современном этапе обозначилась потребность поиска новых решений. Кроме того, одной из особенностей сельской истории является

массовость событий, обезличивающих историю. Изучение же социальных групп села требует введения в историю голосов рядовых участников, вспоминающих прошлое в своих биографических интервью и семейной истории. Как отмечает Ш. Рейнхарц, «устная история, в противовес письменной, более пригодна для получения информации о тех людях, которые в меньшей степени участвуют в создании письменных документов... Поэтому особенно подходящими кандидатами для исследований устной истории являются представители более уязвимых социальных групп» [5]. В советском обществе это колхозники, рабочие совхозов, МТС, пунктов «Заготзерно» и «Заготскот», леспромхозов и лесхозов, работники сферы образования, здравоохранения, культуры и т. п.

В советской историографии акцент делался на успехах колхозно-совхозного строительства, а в социальной сфере — на тенденциях развития социально- и этнически-однородного советского общества. Ангажированность проявлялась в политизированной и идеологизированной манере исторического повествования, в заданных параметрах. Устная история отражает в первую очередь взаимоотношения между разными социальными группами внутри сельского общества, через традиции, общественно-семейные ценности, жизненные и трудовые установки, т. е. неформальные механизмы. Именно неформальные механизмы являлись важнейшей составляющей исторических процессов в советский период, выполняя роль катализатора взаимоотношений власти и общества. В этом отношении устные источники являются наиболее полной версией мнения «снизу», настроений на «нижних этажах» общества.

Исторические интервью показывают формирование значительной социальной дифференциации в сельском населении советского общества. В ее основе лежали иные по сравнению с доколхозным периодом факторы, связанные с государственной социально-экономической политикой и идеологией. Происходило формирование социальных групп как в результате репрессивной политики советского государства (раскулаченные, депортированные, инакомыслящие и др.), так и через складывание их в производственных секторах социалистического производства, различавшихся формами социалистической собственности, с которыми были связаны труд и жизнь сельчан. Общество алтайской деревни состояло из неоднородных социальных групп, отличавшихся материальными возможностями и гражданскими правами. Это проявлялось в отсутствии паспортов у колхозников, в регулировании земельных наделов у сельских групп, в размерах государственных пайков, в существовании лиц с ограниченными правами («враги народа», жены и дети «врагов народа») и т. д.

Устные свидетельства показывают, что более стабильное материальное положение и социальные преимущества имели группы сельского общест-

ва, работавшие в государственном секторе, например жители сельских населенных пунктов, сформировавшихся вдоль железных дорог для их обслуживания, около вольфрамовых рудников, предприятий пищевой или лесной промышленности и т. д. Их привилегированное положение осознавалось современниками: «Престижнее было работать с лесом. В селе был леспромхоз — огромное предприятие. Было 30 МАЗов, возили из тайги... работало около 600 человек... Было три смены по 8 часов. Десятники, нормировщики... В Тогульском районе еще было 12 лесхозов... Работающие получали скидки, льготы на производимую продукцию (плахи, тес, штакетник). Очередь нужно было выждать для получения льгот. Зарплата деньгами...» (Г. Ф. Веснина, 1939 г. р., Тогул).

Среди населенных пунктов, связанных с сельскохозяйственным производством, более привлекательной для населения оказалась государственная сеть отраслевых хозяйств — совхозов (советских хозяйств), создававшихся в 1920–1930-х гг. как для племенной или селекционной работы, так и для производства хлеба, молока, мяса (племсовхозы, откормсовхозы, зерносовхозы, МТФ, ОТФ, СТФ, опытные станции и др.), а также сельские населенные пункты, связанные с системой перерабатывающих предприятий (маслозаводы, льнозаводы), предприятий по изготовлению стройматериалов, заготовке гравия и песка, с цементным и кирпичным производством. Внутри сельского общества своим социальным статусом отличались работники системы образования, здравоохранения, соцкультбыта и т. д.

Особенный интерес представляют сравнительные материалы исторических интервью, записанных от двух социальных групп сельского населения — колхозников и рабочих совхозов, сформировавшихся в двух секторах социалистической экономики — колхозно-кооперативной и совхозной. Устные источники показывают, что население государственного (совхозного) сельскохозяйственного производства было группой с более устойчивым положением. В отличие от колхозов, совхозы давали рядовому труженнику материальную выгоду — гарантированную заработную плату вместо, как говорят респонденты, колхозных «палочек» за трудодни и натурального расчета. Особенно ярко аргументация проявляется в интервью о послевоенных государственно-партийных кампаниях по переустройству деревни, прежде всего по слиянию колхозов с постепенным переводом их в совхозы. Жизненные истории показывают, что для бывших колхозников начавшийся перевод нерентабельных колхозов в совхозы в 1950–1960-е гг., означал переход в материально более обеспеченную группу с общегражданскими правами (денежная оплата труда, отпуска, социальные гарантии и т. д.).

Устноисторический материал об огосударствлении колхозов показывает, что «им [совхозам] завидовали». Материальное, техническое и финансо-

вое положение совхозов было крепче. Во всех интервью, взятых у бывших колхозников, подчеркивается преимущество условий труда и жизни в финансируемых государством совхозах, благодаря чему формировался своеобразный раскол деревенского сектора на нищие колхозы и более финансово и технически обеспеченные совхозы, а деревенского общества — на колхозников и рабочих совхозов. Это способствовало формированию своеобразной социальной иерархии советского общества с ощущением превосходства на повседневном уровне у одних групп и принижением положением других.

Эта дифференциация влияла на взаимоотношения населения разных населенных пунктов с разной формой хозяйствования (колхоз—совхоз). Эмпирический опыт колхозников отражает обиду на совхозы: «Совхоз был на Большой Заимке, Маркитанке и Белом. Грань между колхозом и совхозом шла по пасеке. Че-нибудь купить — совхозу везут и машины и плуги, а колхозу — ничего. У нас даже косилок не было. Колхозы считали за ерунду. Издевались. Сразу на Маркитанке [совхоз] поставили 2 двора скотских и на Заимке [совхоз] — 2 двора. Там работают на деньги. А здесь — бесплатно» (Я. Ф. Серебрянников, 1905 г. р., Куяча. Алтайский район).

Среди преимуществ жизни в совхозах колхозники выделяют самые значимые для них материальные выгоды — гарантированную плату и предоставление жилья. На совхозных усадьбах за счет государственного финансирования проводилось благоустройство. Так, в Куячонке после создания совхоза бывшим колхозникам стали предоставлять жилье: «Сначала жили по 3–4 семьи в доме. А потом в 50-е годы стали строить дома, и нам один дом построили. Только и жить бы. Это власть все сделала — разогнали все деревни. Люди так бы и жили». Массовый перевод колхозов в совхозы сопровождался улучшением материального положения сельского населения и вызвал формирование миграционных настроений, сначала из колхоза в совхоз, а затем из села в город. Многие колхозники старались переехать из колхозов в совхозы: «Уехали из Куягана в Куячонок, потому что в Куягане колхоз был, жили плохо. А в Куячонке совхоз был, деньги давали и хлеб пекли, пекарня была, а у нас денег не было» [Гурашкины А. Д. и М. И., 1927, 1930 г. р., с. Куячонок. с. Куяча, Алтайский район]. В Куячонок, по словам Я. Ф. Серебрянникова, стали уезжать и из соседней Куячи: «Когда был совхоз [в Куячонке], так туда все лезли, в Куячонок. Многие даже бежали в совхоз. Паспорта выдали только недавно, а так не было ни в совхозе, ни в колхозе. А если куда ехать, выдавали документы из сельского совета». П. Н. Гурова (Зональный район) так характеризует обозначившееся в крестьянской среде стремление переехать из колхозов в совхозы: «Мои родители из Буланихи сюда приехали (пос. Восход). Потому что здесь совхоз, отделение образовалось, и здесь совхоз. А там колхоз. И вот сюда, в совхоз, родители

приехали. А дома побросали. А здесь землянку на горочке выкопали. Там [в колхозе] все как-то отбирали. А здесь деньги. И вроде совхоз как деньги давал. За деньгами побежали сюда...».

Рост совхозного производства и увеличение численности населения в селах с совхозным производством привели к появлению «копай-городов» — окраинных жилых районов с дерновыми жилищами. Опыт копай-городов был приобретен еще в 1930-е гг. при крупных стройках социалистической индустриализации, в послевоенных селах, и в период массового совхозного строительства (1950–1960-е гг.). Об одном из них — в совхозе «Красный Партизан» Чарышского района, сформировавшемся около р. Чарыш — очевидцы рассказали следующее «Дети подросли, мужики с фронта вернулись. Строили землянки: резали пласты с землей, дети их носили на носилочках. Взрослые укладывали. Между рядами хворостинку бросят для связки. Сразу окна и двери планировали. Дом двухкомнатный был. На потолок набирали какого придется материала. Сверху дерн укладывали с небольшим скатом на две стороны, чтобы стекало. Затем снаружи и изнутри мазали глиной, включая пол. Для проемов из какого придется материала делали косячки. Рядом с домом, вплотную, вырыли погреб, над ним такую же землянушку. На проход из нее в избу повесили занавесочку. Спали и на полу и на печи и на голбце. Телят и поросят зимой в дом заносили, толкали под голбец. Там же держали курей. В этом копай-городе и калмыки жили. Им поручили отары овец. Для прикорма скота на вертолетах привозили жмых (соевый, из подсолнечника). Везли по воздуху в виде больших кругов, под днищем вертолета. Его ели и люди. Отломают кусочек соевого жмыха, растеребят, зальют водой. Вертолеты сбрасывали с воздуха. Бывало, попадали и на крыши землянок. У нас так пришлось заделывать потолок и крышу землянки у бабушки. Ее построили в 1948 г. Простояла до 1955 г. Строили если всем миром, то за лето» (В. Ф. Хохлова).

Устные источники показывают, что модернизация колхозно-деревенского сектора проходила быстро: материальная заинтересованность толкала поколения советских крестьян в совхозы. Этому способствовал предшествующий опыт колхозной жизни. Особенно интересные оценки колхозов содержатся в высказываниях старшего поколения 1905–1915 г. р. — потомственных крестьян. Эмпирический опыт этой категории включал несколько моделей хозяйствования с изменением статуса крестьянина на протяжении их жизни: единоличник — колхозник — рабочий совхоза. В их интерпретации пробивается чувство оскорбленного достоинства. К ним относится интервью Я. Ф. Серебрянникова, 1905 г. р., выходца из крепкой старообрядческой (поморцы) семьи с. Куяча, вынужденного стать в 1930-е гг. колхозником: «Раз я кошу дома [в куячинском колхозе]. Приходят, говорят надо пособить совхозу, сено убирать. Мы уже поставили стога. Уже хлеб убираем.

Председатель дает указание бригадиру — отправьте машину в совхоз. Мне говорит: „Яков, поедешь в Куячонок [совхоз] помогать косить“. — „Да ведь хлеб [колхозный] надо убирать!“ — „Хлеб — это ерунда. Надо помочь совхозу. Ехай. Вот неделю проработаешь [в совхозе], садись и ехай домой“. — „А если отпускать не будут?“ — „Не разговаривай«. Приехал в Куячонок и говорю управляющему: „Приехал от колхоза вам помогать“. — „Вон там косят Андрей с Ерофеем, с ними будешь косить за горой“... Неделю прокосил с ними... А они мне: „Не поедешь [домой], мы договоримся, ты еще будешь неделю“. — „Уж когда договоритесь, а мне велено ехать. У нас хлеб стоит, убирать надо. Рабочих мало. Солома уже ломается, вязать-то как?« А осенью, когда Я. Ф. Серебрянников приехал за заработанными деньгами в совхозную контору, то оказалось, что в первую очередь расплачивались с рабочими совхозов: „А нету на тебя еще ничего“. Как летом косил, так еще ничего и нету. Ну, потом забег. Раза три я заходил. Так и ничего. Да и то уж последний раз поехали... Спрашиваю: есть наряд? — „Есть, Яков Федорович. Ты там-то косил. Да? Обедал, ужинал. А мясо было, да? Тебе приходится 5 руб. 60 коп...“ (вычли из зарплаты и выдали меньше, чем колхозник заработал. — Т. Ш.). До войны-то мы все в колхозе жили. Здесь их было 4 колхоза-то. А уж после войны перевели в совхоз».

Таким образом, сформировавшиеся в советский период социальные группы дистанцировались в повседневной жизни через производственные отношения. На самой нижней ступени советского деревенского общества стояли колхозники. Хотя информаторы, работавшие вне колхозов, обычно говорят и о некоторых преимуществах колхозного общества, которые им виделись в том, что колхозы «жили сами по себе», были «сами себе хозяева». Они должны были выполнять государственные задания, а все, что оставалось после сдачи зерна, молока, мяса, оставалось в хозяйстве, которое распределялось, в том числе на трудодни колхозникам, или продавалось для приобретения техники. Сами они выбирали и колхозное правление, включая председателя. А совхозы управлялись назначаемым директором, им «спускали» государственные планы, регламентировали заработную плату и т. д. Но самостоятельность колхозов, в интерпретациях респондентов, при низком уровне материально-технической базы и финансовой беспомощности колхозов, без помощи государства, оборачивалась для колхозников нищим существованием, тогда как в совхозах издержки сельскохозяйственного производства в случае неурожая, неблагоприятного сезона и т. д. компенсировалась государством. Как вспоминают работники совхозов, если план перевыполняли, то рабочим совхозов выдавали премии, а если с планом не справлялись, то совхоз объявлялся убыточным, но на заработной плате это не отражалось. А колхозники жили «сами по себе», что проявлялось в «самообеспечении» колхозного общества «со своим правлением»,

и «они сами решали, что и когда сеять, но все равно им что-то доводилось [государством]» и «сколько у них останется [после сдачи государству], они рассчитывали колхозников и давали на трудодни». Но при слабой технической оснащённости и маломощности колхозного производства такая самостоятельность колхозов не способствовала росту жизненного уровня колхозников: «После войны отменили талончики и карточки. Если в войну их потеряешь — то не дадут... А в колхозе хлеб делили... В войну траву ели. После войны появились лошади. Голод был после войны... Все зерно забирало государство, а в колхозах оставались лишь семена. Голодные 1947–1948 гг. Люди голодовали. Неурожай пшеницы...» (Н. Якимович, 1928 г. р., Тогул). Таким образом, на бытовом уровне формировалось определенное противостояние между населением колхозов и совхозов соседних сел.

По мере советской модернизации сельскохозяйственного сектора экономики социальная дифференциация формировалась на повседневном уровне внутри сельских обществ. Например, устные свидетельства показывают, что «белой костью» на деревне были рабочие МТС — трактористы, комбайнеры, не говоря уже об инженерах. Как вспоминают колхозники, они «подолгу женихались», посещая все колхозные вечерки, были «завидными женихами» на деревне. Пренебрежительное отношение к колхозным конюхам, скотникам с их стороны определялось их социально-материальным превосходством. Социальное неравенство формировалось в ходе советской модернизации деревни вопреки декларируемым принципам социального равенства. Устные исторические источники показывают, что сформировавшаяся социально-статусная дистанция играла большую роль во взаимоотношениях сельского населения. Например, о сложных отношениях в быту и повседневной жизни между колхозниками и рабочими леспромхоза рассказывали респонденты в с. Топтушка Тогульского района: «В селе был колхоз, а потом перевели из Женихово (в 1962 г.) лесхоз, потом леспромхоз. Мы детьми были. Отец в леспромхозе работа. Зарплату получал. Так мы в кино идем и сразу пятак за вход отдаем, а колхозные дети сначала бегут в магазин, яички продадут, а потом только в кино идут. Им приходилось продавать яйца, молоко за деньги, чтобы куда-нибудь сходить». В этом отрывке отразилось превосходство членов семей работников леспромхозов, получавших заработную плату. Дальнейшее повествование рассказчика показывает, что для колхозников эта ситуация была болезненной, они формировали определенную систему защиты. Колхозники Топтушки также отвечали на создавшуюся ситуацию. Лесхозовцы жили в верхней части села, а колхозники — в нижней, около р. Коптелки, у запруды, которую они считали своей: «Мы на речку идем, пинков наполучаем. Били детей лесхозовских, когда те шли купаться на речку. А в магазин придем, пока колхозники не купят, нас не пускают. В конец [очереди] всех отправляют. А там уже покупать нечего. В послед-

нюю очередь подавали даже самое необходимое. Зато когда мы свой орсовский магазин открыли с колбасой, то мы их не пускали. У нас подавали дефицитные товары – тушенка, колбаса, молоко. Они нас не любили. Мы когда сюда приехали, стали лес колхозу ограничивать. Раньше-то они сами себе хозяйничали в лесу. В отместку колхозники зажимали нас в покосах. Иногда приходилось уже в сентябре лесхозовским для своей скотины косить...» (А. П. Демаков, 1955 г. р., с. Топтушка, Тогульский район).

Установлению неравенства разных социальных групп алтайской деревни способствовала и декларируемая государством регламентация земельных прав, норм трудовой выработки и оплаты труда при разных формах социалистической собственности. Свою обиду на колхозников имели и рабочие МТС. Сравнивая положение колхозников со своим, они говорят: «В МТС у рабочих норма: если у рабочих МТС комбайн – 12 гектаров убрать, если пашешь на тракторе – 6 или 8 га, в зависимости от гона [количество разворотов на поле: на маленьком – много, на большом – меньше, что сказывалось на трудозатратах]. 1 норма равнялась 5 трудодням. Но, в отличие от колхозников, нам давали 2 кг пшеницы и 50 коп. [колхозы расплачивались за работу МТС продукцией], а колхозникам – ничего. У них не было обязательного минимума, т. е. не нормировалось. И если колхоз все зерно сдал, то ничего не осталось, то и ничего не платили» (А. В. Фролов, 1932 г. р., Льнозавод, Тогульский район). В таких условиях, созданных государственной политикой, материальное положение колхозников было хуже, чем других категорий сельского населения. Т. А. Иушина (1922 г. р., Тогул) вспоминает: «После войны были налоги. Деньги мы не видели. В колхозе работали за хлеб. После войны совхозы стали, деньгами платили».

«Самостийность» и маломощность колхозов, высокая доля ручного труда способствовали тому, что работы в колхозном хозяйстве выполнялись всем взрослым населением, уравнивая и мужчин и женщин, пожилых и молодых. Как говорят информаторы, «делали всё подряд», если посевная – все на поле, если сенокос – все на покосе и т. д. Н. И. Якимович (1928 г. р., Тогул) вспоминает: «Три колхоза было в Тогуле, совхозов в то время не был. Заработной платы не было, а работали за трудодни. 1 трудодень – 1 руб. На него корму – кто-то больше, кто меньше. Женщины-трактористы работали в МТС. Получали копейки. Сеном могли дать за трудодни и деньгами. МТС отдельно от колхозов. Потом стали появляться трактора. А в основном лошади. Все делали вручную. МТС не зависело от колхозов. Тракторы своего хозяйства. Также работали женщины. Лучше было механизатору [в МТС] – они знали свою работу. В МТС работать лучше – 10–70 руб. в месяц, а в колхозе – по 1/2 ст. меда... А там лучше. Каждого не брали [в МТС] трактористом – учились, работали. А в колхозе все работали, я не помню, какое у них образование. Вся деревня работала в колхозе. Совхозы появи-

лись после войны. В них [совхозах] появилась техника, денежная плата туда, разделена работа, а в колхозе все подряд».

Такая производственная ситуация в колхозном хозяйстве стирала гендерную дистанцию, уравнивая в производстве мужской и женский труд. Уравнение прав мужчин и женщин привело к перекосу в трудовой сфере, уродовало природу женщин. Женщин в общей группе отправляли на обязательные лесозаготовки, сажали на трактора, превращали в чабанов и т. д. Интервью Т. А. Иушиной (1922 г. р., с. Тогул) показывает, как меняется положение деревенской женщины в маломощных колхозах: «Колхозы начали появляться. Сено косили, заготовливали для скота. Я всю мужскую работу знала. Зимой мы по дорогам возили, а оглобля лопнет. Я руками голыми запрягу. Я запрягала лошадей. Косили, скирдовали, молотили. Скирдовали снопы большие. Их укладывали в больше скирды, соединяли большими снопами и свершают, как крышу. Я, бывало, на бичке по полосам ездил и накладывала полную. Мою подружку убило. Мотор разорвался. Дома не знали... как спят... зиму в тайге. Месяцами не мылись... Я училась на тракториста и комбайнера в Буланихе (Зональный район). Маленько работала. Техники было мало [в колхозе]. ЧТЗ, я плугарила на нем, один на весь колхоз. МТС в Антипино был. Горючее возили оттуда. Ездили вдвоем по две лошади. Летом в поле ночевали. Мне было 18 лет. Мешки таскала тяжелые. Пахала, как мужик, и *завсегда первая была. На стенке [доске почета] висела. Пашешь, глаз не видно. Одни зубы... Работали без выходных. С темна начнешь и кончишь потемну...*»

На всех колхозных работах побывала и Н. А. Родионова (1920 г. р., Тогул), являясь, как и все женщины, универсальной рабочей силой в колхозном производстве: «Я работала на прицепе... Трактор ЧТЗ и прицеп с ним... На лесозаготовку ездили в тайгу... был план [государственные задания], сколько заготовить: с колхоза людей сгоняли, и когда вода поднималась [заготовленный лес сплавляли по рекам] — сплавляли до Тальменки [р. Уксунай — Чумыш]... Жили в бараке в тайге, метров 60, трехъярусные нары, печки ставили. Все колхозы выезжали. По человек 15–20. Я и поварихой работала, и в полеводческой бригаде, а тракторная бригада отдельно — 2–3 трактора есть и уже бригада. И вручную косили, и снопы вязали, *стахановцы были...* Я в войну работала на зяби, хлеб убирала, а весной вспашку делали. Я работала на прицепе, а он [муж] — на тракторе. Лобогрейка — хлеб на лошадях убирала, я сажу граблями кучки делала, а девчонки вяжут в снопы. В обед выпрягали лошадей... Лен дергали руками, приходил учетчик и считал, сколько я связала, и вечером вывешивали листок с результатами... Телят пасли, на корове пахали, полыньей топили, напекешь картошку-печенку. Кизяки делали... Жили на картошке, терли ее, отжимали, кисель ели... Ткали сами холст... дорожки из льна делали...»

В том и в другом интервью рассказчицы подчеркивают, что, наряду с мужским, их разнорабочий неквалифицированный, но добросовестный труд материально не вознаграждался, отмечался лишь общественным одобрением и поощрялся «всенародным» признанием их трудовых заслуг традиционными советскими способами морального поощрения (в конкретных рассказах это признание проявилось в фразах «завсегда первая была. На стенке висела» и «стахановцы были»). При советской системе моральной мотивации труда, колхозники, в отличие от работников совхозов, материальных вознаграждений почти не имели. Как они говорили в своих интервью, «грамоту дадут... медаль», «иногда женщине шелковый платок правление подарит», а так все больше «словами отмечали», «переходящее знамя давали» и т. д., а за работу не получали: «распишешься в конце года и еще должен останешься». Большую стимулирующую роль в организации колхозного труда играли меры наказания за любое уклонение от работы: «Раньше за отказ от работы по 6 месяцев тюрьмы. Дисциплина была строгая. Очень даже хорошо. На бригаде пьяного не увидишь... На север [ссылка] за ведро [пшеницы]... Так и надо... XX съезд — ненавистники Сталина» (В. Г. Арин, 1930 г. р., Тогул).

Таким образом, воспоминания колхозников показывают напряженный ненормированный неквалифицированный труд всего взрослого населения колхозов, без гарантии оплаты труда. Жили, как они говорят, своим хозяйством. Держать его приходилось еще и потому, что колхозники обязаны были расплачиваться с государством за ведение личного подсобного хозяйства. Каждый колхозный двор должен был расплачиваться по государственной разрядке. Стандартный набор, установленный для всех одинаково, включал «государственный оброк» за коров, овец, свиней, кур. Даже если их не держали, каждый двор должен был сдать молоко, яйца, шкуры. По рассказам колхозников, им приходилось для «государственного оброка» покупать те виды продукции, которых у них не было. Вот как это звучит в рассказе Н. М. Заречевой: «После войны стало легче, зерна больше стали давать [на трудодни]. Сметанка. Курицы. Государству сдавали 300 литров молока в год, если жиры нормальные [4,4%, в противном случае объем сдаваемого молока увеличивался]. 100 яиц, хоть есть курица или нет... Мясо государству сдавали. Один сдает, а 10 человек покупает [если не было своего мяса, то покупали и сдавали]. Свиней держали. Денег не был. Продавать приходилось, чтоб купить что-нибудь. Мылись, мыло свое варили. Скот умирает, соду покупали и варили из дохлого мяса. Потом нарезаешь. Щелоком мыли волос. У мамы были косы, длинные. Керосином мазали — вшей выводили».

В результате такой политики в отношении колхозов, колхозники, в отличие от других категорий сельского общества жили в 1940–1950-е гг. нату-

ральным хозяйством, не только не имея денег, но и испытывая недостаток продуктов собственного хозяйства. В послевоенных колхозах, главных производителей хлеба, сложилась парадоксальная ситуация, когда не хватало главного продукта — хлеба для тех, кто его выращивает. И эта ситуация воспроизводится из рассказа в рассказ: «После войны стало лучше — за год 17 кг пшеницы. Денег никогда не видали... Меняли вещи на муку... Потом пенсию мама получала — 6 руб. [колхозная пенсия], потом прибавили — 8 руб., потом 12 руб». (А. Ф. Данилова). Таким образом, заработанного на трудодни зерна не хватало на хлеб, который пекли сами. А в колхозных магазинах хлеб не продавался. Как вспоминает Л. П. Шеина (1930 г. р., Тогул), «в 1948–1949 г. получше стало... Но хлеб не продавали... В Бийске покупали. В деревне хлеб появился после 50-го года». Изменить же свой социальный статус колхозники не могли, так как их «прикрепили к колхозам», отказав им в выдаче паспортов, тем самым поставив их в бесправное положение по сравнению с другими социальными группами алтайской деревни. Та же Н. М. Заречнева своеобразно прокомментировала эту ситуацию в контексте опроса о советской праздничной системе: «Гулянок не было. Ни разу даже. День рождения не знали, не праздновали, пока паспорт не получили».

Наряду с колхозниками, рабочими совхозов, МТС, лесхозов в алтайской деревне обособились социальные группы, чей труд не был связан с производством, — работники образования, здравоохранения, финансово-экономических и административных служб, работающие в государственном секторе. Сами респонденты делят сельское население 1930–1950-х гг. на тех, кто «состоял в колхозе», и тех, кто «не был в колхозе». В качестве иллюстрации можно привести отрывок из интервью с В. М. Зенковым (1927 г. р., Антипино/Тогул): «В 1928 г. был образован колхоз „Большевик“ (с. Антипино, Тогульский район). Коммуна им. С. Разина в 1926 г. развалилась, и самостоятельно стал колхоз „Большевик“. Он существовал до 1950 г. Антипинский объединили с колхозом „Пограничник“ и „Большевик“, и стал колхоз им. Сталина. А в Тогуле в 1931 г. образовались колхозы Буденного, Молотова, 12 октября. В колхоз входило семей тысячи полтары. Учителя, агрономы, КБО (комбинат бытового обслуживания), почта не входили в колхоз. МТС были отдельно... Родители не были колхозниками. Мама работала в сельсовете: регистрация рождения, браков, смерти. Отец работал в заготовительной госконторе (мед, ягоды, и всё, всё)». Иногда информаторы объединяют их в одну группу — «специалисты». Они появлялись в колхозной деревне по направлениям государства и, как правило, были приезжими. Их высокий статус определялся рядом факторов, среди них колхозники называют заработную плату и образование. То и другое накладывало отпечаток на образ жизни, одежду, бытовую обстановку. Заплату они стабильно получали от государства, а жилье обязан

был предоставить колхоз. Если в 1930–1940-е гг. их подселяли на квартиры в дома колхозников, то в 1950-е гг., как правило, от колхозов требовали предоставлять специалистам отдельное жилье, как в совхозах. П. М. Родионов сказал об этом так: «Строиться начали уже после целины. Задание было колхозу — вот столько-то домов построить... План был строить жилье. Специалисту приехавшему предоставляли жилье».

Можно рассмотреть социальную дистанцию между колхозниками и «специалистами» на примере положения сельского учителя. А. Антипина (1925 г. р., Тогул) из своих детских воспоминаний, отмечая разницу между учителем и колхозниками, вспоминает: «Учитель лучше одевался. В школу пошла с 9 лет в Мартыново. В Аксеново школы не было. А я ходила [в школу] очень бедно, в материнных галошах ходила, а зимой — в старой фуфайке. Зимой нас возили на лошадях, и старались мы вперед лошади бежать, чтобы не замерзнуть. Когда пурга и сильные морозы были, тогда возили. А так пешком 3 км ходили».

Так формировалась сельская интеллигенция, являвшаяся частью советской интеллигенции, которая в социальной стратификации социалистической общественной модели называлась «прослойкой», в отличие от двух классов — рабочих и крестьян. Ее формирование шло под контролем государства и при его вмешательстве. И в этом был определенный смысл. Государство формировало определенные каналы влияния на деревенское общество. Учитель являлся проводником новой социалистической культуры и мировоззрения в селе, ставленником советского государства, которое выучило его на государственные деньги и содержало на государственное жалование. Ему отводилась роль транслятора нового мировоззрения в сельское общество. Поэтому учителям не только давали образование, но и прививали понятия о социалистических ценностях и установках, в том числе путем разработанных инструкций и внедряемых образов. Бывшая учительница с. Тогул С. И. Шабалина (1922 г. р.), начавшая работать в школе перед войной, так отразила положение учителя в сельском обществе: «В журнале «Начальная школа» критиковали учительницу за то, что она купила брошь — божью коровку. У меня девочка была, у ней зимой не в чем ходить. Ее мать в байковом одеяле приносила. Питались больше картошкой... Учитель был всем на селе... Мы вели агитационную работу. Сколь общественных работ? Займы, подарки на фронт собирали... Было запрещено, чтобы ученики дарили подарки. Один раз в 7-й класс принесли букет цветов, а в нем шелковый платок».

У колхозников формировалась тяга к «государственной службе» и к образованию как пути «выбиться в люди». Так, мать А. Ф. Абрамович, колхозница, дала образование дочери через бухгалтерские курсы и посоветовала ей ехать в совхоз, где ее должны были обеспечить квартирой и выдавать за-

работную плату деньгами: «Потом в Шумиху позвали. Бухгалтером работать. Мама мне сказала: „Езжай! Работай! Квартира там обеспечена будет“. И мы уехали [из колхоза в с. Улусово]... Пшеницу, сено, дрова совхоз привез: пожалуйста, держи хозяйство».

По этим же причинам из общей массы колхозного общества выделялись фельдшера, агрономы, даже продавцы. Последние при советской торговой системе, построенной на распределительном принципе, были особенно уважаемыми людьми. Про них в деревне ходило много нелестных слухов, их недолюбливали, завидовали, но предпочитали дружить с ними, так как все дефицитные товары, в число которых входили и предметы первой необходимости (ситец, тушенка, чай, сгущенное молоко, конфеты и т. п.), как правило, не доходили до прилавка, а распределялись по родственникам и знакомым. Как сказал один респондент, «мы по соседству жили с продавцом магазина, друг другу помогали» [М. А. Гудкова, 1930 г. р.].

Положение служащих и работающих на государственных предприятиях в колхозной деревне отличалось получением «живых» денег, но, по устным свидетельствам очевидцев, их ограничивали в количестве приусадебной земли. Колхозникам она была нужна, так как при отсутствии денег и гарантированной оплаты труда подсобное хозяйство являлось важнейшим средством существования. Даже рабочих МТС ограничивали в наделении земель. В. Г. Апарин (1930 г. р.), работавший в Старотогульской МТС, сравнивая свое положение с положением колхозников и отмечая, что у рабочих МТС было больше возможности заработать деньги и им давали больше хлеба, чем колхозникам, высказал обиду, что им урезали огороды: «Деньги платили... Хлеб давали... Питались по 200 г на карточку [в колхозе по 100 г на трудодень]... Работников МТС прижимали. У колхозников огороды и до 50 соток, а нам по 15–20 соток. Они с огородов жили...» Муж С. И. Шабалиной также работал в МТС и получал хлеба больше, чем колхозники: «Муж работал в тракторном отряде учетчиком. Им давали 300 г хлеба. Хлеб серый, с примесью, даже с сорняком — кырлык». Об этом же рассказывал Б. С. Иванов (1931 г. р., Тогул): «В войну у госслужащих было 15 соток, а у колхозников — до 50 соток. Но им давали большую часть земли за селом, и там садили картошку [которая и спасла сельчан в войну]. Загораживали заборы колючим боярышником, чтобы скот и дети не лазили: копали канавку, сверху закладывали боярышником, стволами в огород, колючками наружу. Но мы все равно лазили за мерзлой картошкой. А мы старались, у себя все постройки плотно делали, чтобы землю освободить. Зато нам давали карточки на работника и на иждивенца, а колхозникам только трудодни — по 50 г хлеба за трудодень. Они жили только огородами и подсобным хозяйством. А мне, как иждивенцу, и маме, она работала в ОРСе [организация, снабжавшая леспромхозы продуктами] давали по 250 г хлеба».

Образование совхозов после слияния колхозов изменяло положение рядовых сельчан. В определенной степени значительную роль в материальном улучшении жизни колхозников сыграла советская политика по поддержке двух производительных классов — рабочих и крестьян. В советском рабоче-крестьянском государстве стандартной являлась ситуация, когда в городе рабочий завода получал больше инженера, а в деревне передовая доярка — больше директора совхоза. Рассказчики хорошо помнят, что раньше «тракторист мог заработать больше, чем председатель... Совхозы были богатые» (М. П. Ащеулов, Тогул). Первоочередность для рядовых работников устанавливалась и в распределении путевок на санаторно-курортное лечение, существовали разрядки и на вступление в партию. Обо всем этом рассказывается в семейных историях.

Результатом такой политики стало то, что административная элита совхозного сектора в 1920–1950-е г. материально мало отличалась от остальных жителей деревни, не говоря уже о колхозной администрации. Директора совхозов, агрономы, зоотехники, ветеринары входили в группу «специалистов», которых на этапе формирования (1920–1940-е гг.) системы отраслевого совхозного сектора (зерносовхозы, льносовхозы, племсовхозы и т. д.) особенно тщательно отбирали из числа политических активистов — большевиков, бывших партизан, фронтовиков и т. д. Их отношение к труду стимулировалось государством с помощью моральных факторов и партийной дисциплины. Это была особая социальная страта убежденных и искренних строителей коммунизма с высоким чувством долга и ответственности, преданных социалистическим идеям. Об одном из таких советских управленцев, своем отце К. А. Зенкове, георгиевском кавалере, а затем алтайском партизане, попавшем в дивизию Третьяка и вступившем в 1920-е гг. в партию большевиков, рассказал его сын М. К. Зенков.: «Отец мой в 1930-е гг. окончил барнаульскую партшколу. Он был большевик. В 1928–1929 гг. его отправили в Ельцовку. Он был инструктором райкома партии. Он выполнял директивы: как идет уборка урожая. Была идеология партии и ее распространение, отдел пропаганды. Они ездили по деревням, агитаторы были во время кампаний, а этот инструктором. После Ельцовки он был директором МТС. В 1933–1935 гг. построил мастерскую, гараж, получили трактора, обучили трактористов. После перешел в систему „Сибленконоптрест“. В него входили алтайские заводы... потом он был директором... После Быстрянки его призвали в армию... его взяли в 1936 г. и 6 месяцев обучали в Новокузнецке, а позже его отправили в Райсоветавиахим, он проходил сборы, он там работал. Назначили в Алтайский район на сырзавод. 24 июня 1941 г. его забрали в армию. Он был на востоке... в учебном батальоне комиссаром... обучал кадры для фронта... И семья моталась за ним».

Таким образом, государство создавало мобильные группы советских управленцев, используя их на важнейших участках государственной, политической, экономической, общественной жизни. Они являлись опорой советской власти. В частности, К. А. Зенков участвовал в самых масштабных социалистических преобразованиях молодой советской власти — формировании системы отраслевых совхозов, строительстве МТС, маслозаводов и т. д. Условия повседневной жизни семей управленцев в 1930–1950-е гг. имели некоторые отличия, выделявшие их из основной массы рядового сельского населения. М. К. Зенков говорил: «Отличались не сильно от других. Так как моя мама была мастерица, *в холщовых штанах не ходил... Отец получал зарплату* большую... и 300, и 400 руб. Мама не работала. Лишь в 1960–1980-е гг. советская сельская номенклатура в условиях сформировавшейся распределительной системы оторвалась от рядовых сельчан и стала более материально обеспеченной, получая вне очереди книги, автомобили, мебель и т. п.

Но особый диссонанс в сельское общество, где все знали друг друга, в рассматриваемый период внесла репрессивная политика советского государства. Самое бесправное и униженное положение в советской деревне в этот период было у тех сельчан, чьи отцы или матери были репрессированы. Устные свидетельства показывают, что репрессии 1930-х гг. внесли раскол в социальную инфраструктуру. Об этом говорят жены и дети раскулаченных, репрессированных, депортированных. А. Ф. Данилова (1930 г. р., Тогул) вспоминает: «В 37-м году отца забрали, отправили в Магадан, 15 лет лишения свободы, 5 лет лишения голоса, без переписки, через 10 лет прислал письмо: „Жив. Здоров“. В 53-м году он вернулся... *Нас преследовали по деревне*. Мы учились в школе, выйдешь на перерыв, дразнили: „Кулачка! Кулачка!“ Дети кулака. Ради деда [благодаря ему] мы выжили. Дед [имел три сына] поедет, нарубит, на корове подвезет — забирают его вместе с коровой и отбирают всё. *Одно объяснение — „враг народа“*. Долго преследовали... Уже во время войны у деда два сына ушли на фронт... Написали в Москву. Прислали ответ, что, дескать, он отец двух сыновей на фронте. Его не стали преследовать... Но все равно!»

Их социальную приниженность и ухудшение материального положения усугубляли в годы войны обязательные для семей, не имевших родственников на фронте, выплаты государству налогов молоком, яйцами, шкурами. Если семьям, в которых отцы, мужья, сыновья воевали, налог отменяли, то для семей, также оставшихся без мужчин в период раскулачивания или репрессий, этот фактор не учитывали. Так, матери А. Ф. Даниловой, несмотря на то, что ее муж был репрессирован, приходилось выплачивать весь объем. А. Ф. Данилова считает, что это было своего рода продолжение наказания за отца. Об этом говорят ее фразы «присудили [налог]», «придумали [на-

лог]»: «Со школы придешь, корову подоишь. 240 л надо было сдать при жирности 4,4%. Если жирность маленькая — несешь и несешь... сдаем и сдаем... Мясо сдать — обязательно, даже если скотину не держишь, Яйца сдай, хоть и кур нету... *Присудили по 100 яиц...* Покупали у соседей и сдавали. *Придумали, чтобы шкуру сдать! Тоже было! Штраф платить, если не сдашь*».

Для А. А. Братенковой (1924 г. р., Тогул) арест отца и его осуждение как «активного участника контрреволюционной повстанческой организации» (из архивной справки краевого управления КГБ, выданной дочери) привел, по ее словам, к «раздавленной и уничтоженной жизни моего отца, жизни моей матери и моей — 13-летней девчонки». Ее отец был продавцом в с. Бураново: «Там было три колхоза — Калинина, „Красное поле“, „25 января“. Отец в колхозе не был. Не пил, не курил. Его вызвали в Тогул, больше не вернулся. Никто ничего не объяснял. Прокурор говорил: „Был бы человек, а статью найдем!“ Догадывались...» Отца забрали 16 февраля 1938 г. И, по ее словам, «еще 10–12 человек набрали, и под конвоем пешком до Бийска шли. Бурановский мужчина видел их. Мама пошла в Антипино и заблудилась... Отец заставлял мать в колхоз идти. Она не пошла. В столовую устроилась... Но *жена врага народа*. Маму по-первости уволили из столовой. Потом в больнице стала работать... купили домик в Тогуле, но заведующий районо И. В. Карасев нас с мамой выгнал и выкинул наши пожитки ночью в грязь. Двоюродная сестра работала в райкоме партии. Они к нам не ходили. А мы ходили. Поздновато, они сказали, что мы нахальные. Им запрещали с такими семьями, как наша, связь иметь. В 1940 г. я уже работала в 42-й трудармии, в шахте в Киселевске. С 3 июля 1943-го по 28 ноября 1945-го служила... *Это не пошло мне плюсом...* Унижения продолжались до реорганизации района. Не доверяли. После войны устроилась кассиром в Госбанк. В. М. Сергеев, зав. сберкассой, мне сказал: „Я тебе не доверяю. Не уволишься — в трудовой книжке напишу так, что тебя никто, нигде и никогда не примет“. Из банка меня взяли в леспромхоз кассиром. А он опять давай сюда ходить. Он комсомолец был, из Ленинграда. А главбух сказал ему: „Не ходи больше сюда“... Раз зашла в райком партии, а А. Н. Стариков мне сказал: „Ты, дочь врага народа, еще смеешь переступить порог райкома партии? Вон из здания!“ Я только успела спросить: „Я-то чем провинилась?“ Во всех газетах пишут, что самое дорогое у человека — жизнь, а она ни черта не стоит».

В заключение отметим, что в статье затронут лишь ряд проблем социальной истории советского общества. Относительно 1930–1950-х гг., как переходного периода от доколхозной к советской деревне (1960–1980-е гг.), времени интенсивной социалистической модернизации можно сказать, что социальная структура сельского общества представляла собой сложное, динамичное явление. Советские политические и социально-экономические эксперименты проводились в ускоренном жестком режиме. Следстви-

ем этого являлась социальная дифференциация. Социальная дистанция влияла на взаимоотношения в производстве, быту, жизни. В силу разных причин отечественная историческая наука лишь начала серьезные исследования социального развития советского общества. Его осмысление требует привлечения новых методов и источников.

Литература и источники

1. Урсу Д. П. Устная история в современном мире // Проблемы устной истории в СССР: Материалы 2-й науч. конф. в г. Кирове. 14–15 мая 1991 г. Киров, 1991.
2. Соколов А. К. Направления источникового синтеза // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: Учеб. / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, В. В. Борисова и др. / Под ред. А. К. Соколова. М.: Высш. шк., 2004. С. 677.
3. Соколов А. К. Направления источникового синтеза // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика : Учеб. / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, В. В. Борисова и др. / Под ред. А. К. Соколова. М. : Высш. шк., 2004. С. 676.
4. Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к рущеву. Середина 1940-х — начало 1960-х годов. М., 1992. С. 7.
5. Шуламит Рейнхарц. Феминистская устная история // Воспоминания женщин: устные истории переходного периода. Теория и практика: Сб. ст. Бишкек, 2001. С. 45.

И. Л. Щербакова

Память ГУЛАГа. Опыт исследования мемуаристики и устных свидетельств бывших узников

Воспоминаний бывших узников сталинских лагерей долгое время были фактически единственным источником наших знаний о репрессиях, о том, что происходило в тюрьмах и лагерях. Никто не мог надеяться, что гулаговские архивы когда-либо откроются и, главное, что они вообще сохранились. Не случайно в предисловии к подготовленному историками-диссидентами в 1975 г. самиздатовскому сборнику «Память» говорилось: «Говорят, архивы ВЧК—ГПУ—НКВД — учреждений, державших руку на пульсе советской истории, — вылетели дымом в лубянские трубы в октябре 1941 г.; архивы МГБ—МВД, как считают некоторые, тоже горели — в 1953 году... Однако главные наши исторические тайны — особого рода. В эти тайны посвящены миллионы людей. Можно тайно подготовить 1937-й год, но осуществить его тайно представляется затруднительным. Миллионы свидетелей, и многие из них еще живы. Ни один историк никогда не располагал таким обильным материалом» [1].

Лагерная мемуаристика создавалась в течение нескольких десятилетий в менявшихся политических и общественных условиях, и это, вне всякого сомнения, наложило отпечаток на то, что, как и под каким углом зрения вспомнилось. Как очень верно замечает в своей книге (*I sommersi e i salvati*) Primo Levi, человеческая память не высечена из камня, она не только